

Антон Чехов

Дуэль



*Часть сборника
Рассказы. Повести. Пьесы*



АНТОН ЧЕХОВ

Дуэль

«Public Domain»

1888-1891

Чехов А. П.

Дуэль / А. П. Чехов — «Public Domain», 1888-1891

Содержание

I	5
II	10
III	13
IV	17
V	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ

Дуэль

I

Было восемь часов утра – время, когда офицеры, чиновники и приезжие обыкновенно после жаркой, душной ночи купались в море и потом шли в павильон пить кофе или чай. Иван Андреич Лаевский, молодой человек лет двадцати восьми, худощавый блондин, в фуражке министерства финансов и в туфлях, придя купаться, застал на берегу много знакомых и между ними своего приятеля, военного доктора Самойленко.

С большой стриженной головой, без шеи, красный, носастый, с мохнатыми черными бровями и с седыми бакенами, толстый, обрюзглый, да еще вдобавок с хриплым армейским басом, этот Самойленко на всякого вновь приезжавшего производил неприятное впечатление бурбона и хрипуна, но проходило два-три дня после первого знакомства, и лицо его начинало казаться необыкновенно добрым, милым и даже красивым. Несмотря на свою неуклюжесть и грубоватый тон, это был человек смирный, безгранично добрый, благодушный и обязательный. Со всеми в городе он был на «ты», всем давал деньги взаймы, всех лечил, сватал, мирил, устраивал пикники, на которых жарил шашлык и варил очень вкусную уху из кефалей; всегда он за кого-нибудь хлопотал и просил и всегда чему-нибудь радовался. По общему мнению, он был безгрешен, и водились за ним только две слабости: во-первых, он стыдился своей доброты и старался маскировать ее суровым взглядом и напускною грубостью, и, во-вторых, он любил, чтобы фельдшера и солдаты называли его вашим превосходительством, хотя был только статским советником.

– Ответь мне, Александр Давидыч, на один вопрос, – начал Лаевский, когда оба они, он и Самойленко, вошли в воду по самые плечи. – Положим, ты полюбил женщину и сошелся с ней; прожил ты с нею, положим, больше двух лет и потом, как это случается, разлюбил и стал чувствовать, что она для тебя чужая. Как бы ты поступил в таком случае?

– Очень просто. Иди, матушка, на все четыре стороны – и разговор весь.

– Легко сказать! Но если ей деваться некуда? Женщина она одинокая, безродная, денег ни гроша, работать не умеет...

– Что ж? Единовременно пятьсот в зубы или двадцать пять помесечно – и никаких. Очень просто.

– Допустим, что у тебя есть и пятьсот и двадцать пять помесечно, но женщина, о которой я говорю, интеллигентна и горда. Неужели ты решился бы предложить ей деньги? И в какой форме?

Самойленко хотел что-то ответить, но в это время большая волна накрыла их обоих, потом ударила о берег и с шумом покатила назад по мелким камням. Приятели вышли на берег и стали одеваться.

– Конечно, мудрено жить с женщиной, если не любишь, – сказал Самойленко, вытрясая из сапога песок. – Но надо, Ваня, рассуждать по человечности. Доведись до меня, то я бы и виду ей не показал, что разлюбил, а жил бы с ней до самой смерти.

Ему вдруг стало стыдно своих слов; он спохватился и сказал:

– А по мне, хоть бы и вовсе баб не было. Ну их к лешему!

Приятели оделись и пошли в павильон. Тут Самойленко был своим человеком, и для него имелась даже особая посуда. Каждое утро ему подавали на подносе чашку кофе, высокий граненый стакан с водою и со льдом и рюмку коньяку; он сначала выпивал коньяк, потом горячий кофе, потом воду со льдом, и это, должно быть, было очень вкусно, потому что после

питья глаза у него становились масляными, он обеими руками разглаживал бакены и говорил, глядя на море:

– Удивительно великолепный вид!

После долгой ночи, потраченной на невеселые, бесполезные мысли, которые мешали спать и, казалось, усиливали духоту и мрак ночи, Лаевский чувствовал себя разбитым и вялым. От купанья и кофе ему не стало лучше.

– Будем, Александр Давидыч, продолжать наш разговор, – сказал он. – Я не буду скрывать и скажу тебе откровенно, как другу: дела мои с Надеждой Федоровной плохи... очень плохи! Извини, что я посвящаю тебя в свои тайны, но мне необходимо высказаться.

Самойленко, предчувствовавший, о чем будет речь, потупил глаза и застучал пальцами по столу.

– Я прожил с нею два года и разлюбил... – продолжал Лаевский, – то есть, вернее, я понял, что никакой любви не было... Эти два года были – обман.

У Лаевского была привычка во время разговора внимательно осматривать свои розовые ладони, грызть ногти или мять пальцами манжеты. И теперь он делал то же самое.

– Я отлично знаю, ты не можешь мне помочь, – сказал он, – но говорю тебе, потому что для нашего брата неудачника и лишнего человека все спасение в разговорах. Я должен обобщать каждый свой поступок, я должен находить объяснение и оправдание своей нелепой жизни в чьих-нибудь теориях, в литературных типах, в том, например, что мы, дворяне, вырождаемся, и прочее... В прошлую ночь, например, я утешал себя тем, что все время думал: ах, как прав Толстой, безжалостно прав! И мне было легче от этого. В самом деле, брат, великий писатель! Что ни говори.

Самойленко, никогда не читавший Толстого и каждый день собиравшийся прочесть его, сконфузился и сказал:

– Да, все писатели пишут из воображения, а он прямо с природы...

– Боже мой, – вздохнул Лаевский, – до какой степени мы искалечены цивилизацией! Полюбил я замужнюю женщину; она меня тоже... Вначале у нас были и поцелуи, и тихие вечера, и клятвы, и Спенсер, и идеалы, и общие интересы... Какая ложь! Мы бежали, в сущности, от мужа, но лгали себе, что бежим от пустоты нашей интеллигентной жизни. Будущее наше рисовалось нам так: вначале на Кавказе, пока мы ознакомимся с местом и людьми, я надену вицмундир и буду служить, потом же на просторе возьмем себе клочок земли, будем трудиться в поте лица, заведем виноградник, поле и прочее. Если бы вместо меня был ты или этот твой зоолог фон Корен, то вы, быть может, прожили бы с Надеждой Федоровной тридцать лет и оставили бы своим наследникам богатый виноградник и тысячу десятин кукурузы, я же почувствовал себя банкротом с первого дня. В городе невыносимая жара, скука, безлюдье, а выйдешь в поле, там под каждым кустом и камнем чудятся фаланги, скорпионы и змеи, а за полем горы и пустыня. Чуждые люди, чуждая природа, жалкая культура – все это, брат, не так легко, как гулять по Невскому в шубе, под ручку с Надеждой Федоровной и мечтать о теплых краях. Тут нужна борьба не на жизнь, а на смерть, а какой я боец? Жалкий неврастеник, белоручка... С первого же дня я понял, что мысли мои о трудовой жизни и винограднике – ни к черту. Что же касается любви, то я должен тебе сказать, что жить с женщиной, которая читала Спенсера и пошла для тебя на край света, так же не интересно, как с любой Анфисой или Акулиной. Так же пахнет утюгом, пудрой и лекарствами, те же папилютки каждое утро и тот же самообман...

– Без утюга нельзя в хозяйстве, – сказал Самойленко, краснея от того, что Лаевский говорит с ним так откровенно о знакомой даме. – Ты, Ваня, сегодня не в духе, я замечаю. Надежда Федоровна женщина прекрасная, образованная, ты – величайшего ума человек... Конечно, вы не венчаны, – продолжал Самойленко, оглядываясь на соседние столы, – но ведь это не ваша

вина, и к тому же... надо быть без предрассудков и стоять на уровне современных идей. Я сам стою за гражданский брак, да... Но, по-моему, если раз сошлись, то надо жить до самой смерти.

– Без любви?

– Я тебе сейчас объясню, – сказал Самойленко. – Лет восемь назад у нас тут был агентом старичок, величайшего ума человек. Так вот он говаривал: в семейной жизни главное – терпение. Слышишь, Ваня? Не любовь, а терпение. Любовь продолжаться долго не может. Года два ты прожил в любви, а теперь, очевидно, твоя семейная жизнь вступила в тот период, когда ты, чтобы сохранить равновесие, так сказать, должен пустить в ход все свое терпение...

– Ты веришь своему старичку агенту, для меня же его совет – бессмыслица. Твой старичок мог лицемерить, он мог упражняться в терпении и при этом смотреть на нелюбимого человека, как на предмет, необходимый для его упражнений, но я еще не пал так низко; если мне захочется упражняться в терпении, то я куплю себе гимнастические гири или норовистую лошадь, но человека оставлю в покое.

Самойленко потребовал белого вина со льдом. Когда выпили по стакану, Лаевский вдруг спросил:

– Скажи, пожалуйста, что значит размягчение мозга?

– Это, как бы тебе объяснить... такая болезнь, когда мозги становятся мягче... как бы разжижаются.

– Излечимо?

– Да, если болезнь не запущена. Холодные души, мушка... Ну, внутрь чего-нибудь.

– Так... Так вот видишь ли, какое мое положение. Жить с нею я не могу: это выше сил моих. Пока я с тобой, я вот и философствую и улыбаюсь, но дома я совершенно падаю духом. Мне до такой степени жутко, что если бы мне сказали, положим, что я обязан прожить с нею еще хоть один месяц, то я, кажется, пустил бы себе пулю в лоб. И в то же время разойтись с ней нельзя. Она одинока, работать не умеет, денег нет ни у меня, ни у нее... Куда она денется? К кому пойдет? Ничего не придумаешь... Ну вот, скажи: что делать?

– М-да... – промычал Самойленко, не зная, что ответить. – Она тебя любит?

– Да, любит настолько, насколько ей в ее годы и при ее темпераменте нужен мужчина. Со мной ей было бы так же трудно расстаться, как с пудрой или папильотками. Я для нее необходимая составная часть ее будуара.

Самойленко сконфузился.

– Ты сегодня, Ваня, не в духе, – сказал он. – Не спал, должно быть.

– Да, плохо спал... Вообще, брат, скверно себя чувствую. В голове пусто, замирания сердца, слабость какая-то... Бежать надо!

– Куда?

– Туда, на север. К соснам, к грибам, к людям, к идеям... Я бы отдал полжизни, чтобы теперь где-нибудь в Московской губернии или в Тульской выкупаться в речке, озябнуть, знаешь, потом бродить часа три хоть с самым плохоньким студентом и болтать, болтать... А сеном-то как пахнет! Помнишь? А по вечерам, когда гуляешь в саду, из дому доносятся звуки рояля, слышно, как идет поезд...

Лаевский засмеялся от удовольствия, на глазах у него выступили слезы, и, чтобы скрыть их, он, не вставая с места, потянулся к соседнему столу за спичками.

– А я уже восемнадцать лет не был в России, – сказал Самойленко. – Забыл уж, как там. По-моему, великолепнее Кавказа и края нет.

– У Верещагина есть картина: на дне глубочайшего колодца томятся приговоренные к смерти. Таким вот точно колодцем представляется мне твой великолепный Кавказ. Если бы мне предложили что-нибудь из двух: быть трубочистом в Петербурге или быть здешним князем, то я взял бы место трубочиста.

Лаевский задумался. Глядя на его согнутое тело, на глаза, устремленные в одну точку, на бледное, вспотевшее лицо и впалые виски, на изгрызенные ногти и на туфлю, которая свесилась у пятки и обнаружила дурно заштопанный чулок, Самойленко проникся жалостью и, вероятно, потому, что Лаевский напомнил ему беспомощного ребенка, спросил:

– Твоя мать жива?

– Да, но мы с ней разошлись. Она не могла мне простить этой связи.

Самойленко любил своего приятеля. Он видел в Лаевском доброго малого, студента, человека-рубаху, с которым можно было и выпить, и посмеяться, и потолковать по душе. То, что он понимал в нем, ему крайне не нравилось. Лаевский пил много и не вовремя, играл в карты, презирал свою службу, жил не по средствам, часто употреблял в разговоре непристойные выражения, ходил по улице в туфлях и при посторонних ссорился с Надеждой Федоровной – и это не нравилось Самойленку. А то, что Лаевский был когда-то на филологическом факультете, выписывал теперь два толстых журнала, говорил часто так умно, что только немногие его понимали, жил с интеллигентной женщиной – всего этого не понимал Самойленко, и это ему нравилось, и он считал Лаевского выше себя и уважал его.

– Еще одна подробность, – сказал Лаевский, встряхивая головой. – Только это между нами. Я пока скрываю от Надежды Федоровны, не проболтайся при ней... Третьего дня я получил письмо, что ее муж умер от размягчения мозга.

– Царство небесное... – вздохнул Самойленко. – Почему же ты от нее скрываешь?

– Показать ей это письмо значило бы: пожалуйста в церковь венчаться. А надо сначала выяснить наши отношения. Когда она убедится, что продолжать жить вместе мы не можем, я покажу ей письмо. Тогда это будет безопасно.

– Знаешь что, Ваня? – сказал Самойленко, и лицо его вдруг приняло грустное и умоляющее выражение, как будто он собирался просить о чем-то очень сладком и боялся, что ему откажут. – Женись, голубчик!

– Зачем?

– Исполни свой долг перед этой прекрасной женщиной! Муж у нее умер, и таким образом само провидение указывает тебе, что делать!

– Но пойми, чудак, что это невозможно. Жениться без любви так же подло и недостойно человека, как служить обедню не веруя.

– Но ты обязан!

– Почему же я обязан? – спросил с раздражением Лаевский.

– Потому что ты увез ее от мужа и взял на свою ответственность.

– Но тебе говорят русским языком: я не люблю!

– Ну, любви нет, так почитай, ублажай...

– Почитай, ублажай... – передразнил Лаевский. – Точно она игуменя... Плохой ты психолог и физиолог, если думаешь, что, живя с женщиной, можно выехать на одном только почтении да уважении. Женщине прежде всего нужна спальня.

– Ваня, Ваня... – сконфузился Самойленко.

– Ты – старый ребенок, теоретик, а я – молодой старик и практик, и мы никогда не пойдем друг друга. Прекратим лучше этот разговор. Мустафа! – крикнул Лаевский человеку. – Сколько с нас следует?

– Нет, нет... – испугался доктор, хватая Лаевского за руку. – Это я заплачу. Я требовал. Запиши за мной! – крикнул он Мустафе.

Приятель встал и молча пошел по набережной. У входа на бульвар они остановились и на прощанье пожали друг другу руки.

– Избалованы вы очень, господа! – вздохнул Самойленко. – Послала тебе судьба женщину, молодую, красивую, образованную, – и ты отказываешься, а мне бы дал бог хоть криво-

бокую старушку, только ласковую и добрую, и как бы я был доволен! Жил бы я с ней на своем винограднике и...

Самойленко спохватился и сказал:

– И пускай бы она там, старая ведьма, самовар ставила.

Простившись с Лаевским, он пошел по бульвару. Когда он, грузный, величественный, со строгим выражением на лице, в своем белоснежном кителе и превосходно вычищенных сапогах, выпятив вперед грудь, на которой красовался Владимир с бантом, шел по бульвару, то в это время он очень нравился себе самому, и ему казалось, что весь мир смотрит на него с удовольствием. Не поворачивая головы, он посматривал по сторонам и находил, что бульвар вполне благоустроен, что молодые кипарисы, эвкалипты и некрасивые, худосочные пальмы очень красивы и будут со временем давать широкую тень, что черкесы – честный и гостеприимный народ. «Странно, что Кавказ Лаевскому не нравится, – думал он, – очень странно». Встретились пять солдат с ружьями и отдали ему честь. По правую сторону бульвара по тротуару прошла жена одного чиновника с сыном-гимназистом.

– Марья Константиновна, доброе утро! – крикнул ей Самойленко, приятно улыбаясь. – Купаться ходили? Ха-ха-ха... Почтение Никодиму Александрычу!

И он пошел дальше, продолжая приятно улыбаться, но, увидев идущего навстречу военного фельдшера, вдруг нахмурился, остановил его и спросил:

– Есть кто-нибудь в лазарете?

– Никого, ваше превосходительство.

– А?

– Никого, ваше превосходительство.

– Хорошо, ступай...

Величественно покачиваясь, он направился к лимонадной будке, где за прилавком сидела старая, полногрудая еврейка, выдававшая себя за грузинку, и сказал ей так громко, как будто командовал полком:

– Будьте так любезны, дайте мне содовой воды!

II

Нелюбовь Лаевского к Надежде Федоровне выражалась главным образом в том, что все, что она говорила и делала, казалось ему ложью или похожим на ложь, и все, что он читал против женщин и любви, казалось ему, как нельзя лучше подходило к нему, к Надежде Федоровне и ее мужу. Когда он вернулся домой, она, уже одетая и причесанная, сидела у окна и с озабоченным лицом пила кофе и перелистывала книжку толстого журнала, и он подумал, что питье кофе – не такое уж замечательное событие, чтобы из-за него стоило делать озабоченное лицо, и что напрасно она потратила время на модную прическу, так как нравиться тут некому и не для чего. И в книжке журнала он увидел ложь. Он подумал, что одевается она и причесывается, чтобы казаться красивой, и читает для того, чтобы казаться умной.

– Ничего, если я сегодня пойду купаться? – спросила она.

– Что ж? Пойдешь или не пойдешь, от этого землетрясения не будет, полагаю...

– Нет, я потому спрашиваю, что как бы доктор не рассердился.

– Ну и спроси у доктора. Я не доктор.

На этот раз Лаевскому больше всего не понравилась у Надежды Федоровны ее белая, открытая шея и завитушки волос на затылке, и он вспомнил, что Анне Карениной, когда она разлюбила мужа, не нравились прежде всего его уши, и подумал: «Как это верно! как верно!» Чувствуя слабость и пустоту в голове, он пошел к себе в кабинет, лег на диван и накрыл лицо платком, чтобы не надоедали мухи. Вялые, тягучие мысли все об одном и том же потянулись в его мозгу, как длинный обоз в осенний ненастный вечер, и он впал в сонливое, угнетенное состояние. Ему казалось, что он виноват перед Надеждой Федоровной и перед ее мужем и что муж умер по его вине. Ему казалось, что он виноват перед своею жизнью, которую испортил, перед миром высоких идей, знаний и труда, и этот чудесный мир представлялся ему возможным и существующим не здесь, на берегу, где бродят голодные турки и ленивые абхазцы, а там, на севере, где опера, театры, газеты и все виды умственного труда. Честным, умным, возвышенным и чистым можно быть только там, а не здесь. Он обвинял себя в том, что у него нет идеалов и руководящей идеи в жизни, хотя смутно понимал теперь, что это значит. Два года тому назад, когда он полюбил Надежду Федоровну, ему казалось, что стоит ему только сойтись с Надеждой Федоровной и уехать с нею на Кавказ, как он будет спасен от пошлости и пустоты жизни; так и теперь он был уверен, что стоит ему только бросить Надежду Федоровну и уехать в Петербург, как он получит все, что ему нужно.

– Бежать! – пробормотал он, садясь и грызя ногти. – Бежать!

Воображение его рисовало, как он садится на пароход и потом завтракает, пьет холодное пиво, разговаривает на палубе с дамами, потом в Севастополе садится в поезд и едет. Здравствуй, свобода! Станции мелькают одна за другой, воздух становится все холоднее и жестче, вот березы и ели, вот Курск, Москва... В буфетах щи, баранина с кашей, осетрина, пиво, одним словом, не азиатчина, а Россия, настоящая Россия. Пассажиры в поезде говорят о торговле, новых певцах, о франко-русских симпатиях; всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь... Скорей, скорей! Вот, наконец, Невский, Большая Морская, а вот Ковенский переулочек, где он жил когда-то со студентами, вот милое серое небо, морозящий дождик, мокрые извозчики...

– Иван Андреич! – позвал кто-то из соседней комнаты. – Вы дома?

– Я здесь! – отозвался Лаевский. – Что вам?

– Бумаги!

Лаевский поднялся лениво, с головокружением, и, зевая, шлепая туфлями, пошел в соседнюю комнату. Там у открытого окна на улице стоял один из его молодых сослуживцев и раскладывал на подоконнике казенные бумаги.

– Сейчас, голубчик, – мягко сказал Лаевский и пошел отыскивать чернильницу; вернувшись к окну, он, не читая, подписал бумаги и сказал: – Жарко!

– Да-с. Вы придете сегодня?

– Едва ли... Нездоровится что-то. Скажите, голубчик, Шешковскому, что после обеда я зайду к нему.

Чиновник ушел. Лаевский опять лег у себя на диване и начал думать:

«Итак, надо взвесить все обстоятельства и сообразить. Прежде чем уехать отсюда, я должен расплатиться с долгами. Должен я около двух тысяч рублей. Денег у меня нет... Это, конечно, неважно; часть теперь заплачу как-нибудь, а часть вышлю потом из Петербурга. Главное, Надежда Федоровна... Прежде всего надо выяснить наши отношения... Да».

Немного погодя он соображал: не пойти ли лучше к Самойленко посоветоваться?

«Пойти можно, – думал он, – но какая польза от этого? Опять буду говорить ему некстати о будуаре, о женщинах, о том, что честно или нечестно. Какие тут, черт подери, могут быть разговоры о честном или нечестном, если поскорее надо спасти жизнь мою, если я задыхаюсь в этой проклятой неволе и убиваю себя?.. Надо же, наконец, понять, что продолжать такую жизнь, как моя, – это подлость и жестокость, пред которой все остальное мелко и ничтожно. Бежать! – бормотал он, садясь. – Бежать!»

Пустынный берег моря, неутолимый зной и однообразие дымчатых лиловатых гор, вечно одинаковых и молчаливых, вечно одиноких, нагоняли на него тоску и, как казалось, усыпляли и обкрадывали его. Быть может, он очень умен, талантлив, замечательно честен; быть может, если бы со всех сторон его не замыкали море и горы, из него вышел бы превосходный земский деятель, государственный человек, оратор, публицист, подвижник. Кто знает! Если так, то не глупо ли толковать, честно это или нечестно, если даровитый и полезный человек, например, музыкант или художник, чтобы бежать из плена, ломает стену и обманывает своих тюремщиков? В положении такого человека все честно.

В два часа Лаевский и Надежда Федоровна сели обедать. Когда кухарка подала им рисовый суп с томатами, Лаевский сказал:

– Каждый день одно и то же. Отчего бы не сварить щей?

– Капусты нет.

– Странно. И у Самойленка варят щи с капустой, и у Марьи Константиновны щи, один только я почему-то обязан есть эту сладковатую бурду. Нельзя же так, голубка.

Как это бывает у громадного большинства супругов, раньше у Лаевского и у Надежды Федоровны ни один обед не обходился без капризов и сцен, но с тех пор, как Лаевский решил, что он уже не любит, он старался во всем уступать Надежде Федоровне, говорил с нею мягко и вежливо, улыбался, называл голубкой.

– Этот суп похож вкусом на лакрицу, – сказал он, улыбаясь; он делал над собою усилия, чтобы казаться приветливым, но не удержался и сказал: – Никто у нас не смотрит за хозяйством... Если уж ты так больна или занята чтением, то, изволь, я займусь нашей кухней.

Раньше она ответила бы ему: «Займись» или «Ты, я вижу, хочешь из меня кухарку сделать», – но теперь только робко взглянула на него и покраснела.

– Ну, как ты чувствуешь себя сегодня? – спросил он ласково.

– Сегодня ничего. Так, только маленькая слабость.

– Надо беречься, голубка. Я ужасно боюсь за тебя.

Надежда Федоровна была чем-то больна. Самойленко говорил, что у нее перемежающаяся лихорадка, и кормил ее хиной; другой же доктор, Устимович, высокий, сухощавый, нелюдимый человек, который днем сидел дома, а по вечерам, заложив назад руки и вытянув вдоль спины трость, тихо разгуливал по набережной и кашлял, находил, что у нее женская болезнь, и прописывал согревающие компрессы. Прежде, когда Лаевский любил, болезнь Надежды Федоровны возбуждала в нем жалость и страх, теперь же и в болезни он видел ложь. Желтое, сонное

лицо, вялый взгляд и зевота, которые бывали у Надежды Федоровны после лихорадочных припадков, и то, что она во время припадка лежала под пледом и была похожа больше на мальчика, чем на женщину, и что в ее комнате было душно и нехорошо пахло, – все это, по его мнению, разрушало иллюзию и было протестом против любви и брака.

На второе блюдо ему подали шпинат с крутыми яйцами, а Надежде Федоровне, как больной, кисель с молоком. Когда она с озабоченным лицом сначала потрогала ложкой кисель и потом стала лениво есть его, запивая молоком, и он слышал ее глотки, им овладела такая тяжелая ненависть, что у него даже зачесалась голова. Он сознавал, что такое чувство было бы оскорбительно даже в отношении собаки, но ему было досадно не на себя, а на Надежду Федоровну за то, что она возбуждала в нем это чувство, и он понимал, почему иногда любовники убивают своих любовниц. Сам бы он не убил, конечно, но, доведись ему теперь быть присяжным, он оправдал бы убийцу.

– Мерсі, голубка, – сказал он после обеда и поцеловал Надежду Федоровну в лоб.

Придя к себе в кабинет, он минут пять ходил из угла в угол, искоса поглядывая на сапоги, потом сел на диван и пробормотал:

– Бежать, бежать! Выяснить отношения и бежать!

Он лег на диван и опять вспомнил, что муж Надежды Федоровны, быть может, умер по его вине.

– Обвинять человека в том, что он полюбил или разлюбил, это глупо, – убеждал он себя, лежа и задирая ноги, чтобы надеть сапоги. – Любовь и ненависть не в нашей власти. Что же касается мужа, то я, быть может, косвенным образом был одною из причин его смерти, но опять-таки виноват ли я в том, что полюбил его жену, а жена – меня?

Затем он встал и, отыскав свою фуражку, отправился к своему сослуживцу Шешковскому, у которого каждый день собирались чиновники играть в винт и пить холодное пиво.

«Своею нерешительностью я напоминаю Гамлета, – думал Лаевский дорогой. – Как верно Шекспир подметил! Ах, как верно!»

III

Чтобы скучно не было и снисходя к крайней нужде вновь приезжавших и несемейных, которым, за неимением гостиницы в городе, негде было обедать, доктор Самойленко держал у себя нечто вроде табльдота. В описываемое время у него столовались только двое: молодой зоолог фон Корен, приезжавший летом к Черному морю, чтобы изучать эмбриологию медуз, и дьякон Победов, недавно выпущенный из семинарии и командированный в городок для исполнения обязанностей дьякона-старика, уехавшего лечиться. Оба они платили за обед и за ужин по двенадцать рублей в месяц, и Самойленко взял с них честное слово, что они будут являться обедать аккуратно к двум часам.

Первым обыкновенно приходил фон Корен. Он молча садился в гостиной и, взявши со стола альбом, начинал внимательно рассматривать потускневшие фотографии каких-то неизвестных мужчин в широких панталонах и цилиндрах и дам в кринолинах и в чепцах; Самойленко только немногих помнил по фамилии, а про тех, кого забыл, говорил со вздохом: «Прекраснейший, величайшего ума человек!» Покончив с альбомом, фон Корен брал с этажерки пистолет и, прищулив левый глаз, долго прицеливался в портрет князя Воронцова или же становился перед зеркалом и рассматривал свое смуглое лицо, большой лоб и черные, курчавые, как у негра, волосы, и свою рубаху из тусклого ситца с крупными цветами, похожего на персидский ковер, и широкий кожаный пояс вместо жилетки. Самосозерцание доставляло ему едва ли не большее удовольствие, чем осмотр фотографий или пистолета в дорогой оправе. Он был очень доволен и своим лицом, и красиво подстриженной бородкой, и широкими плечами, которые служили очевидным доказательством его хорошего здоровья и крепкого сложения. Он был доволен и своим франтовским костюмом, начиная с галстука, подобранного под цвет рубахи, и кончая желтыми башмаками.

Пока он рассматривал альбом и стоял перед зеркалом, в это время в кухне и около нее, в сенях, Самойленко, без сюртука и без жилетки, с голой грудью, волнуясь и обливаясь потом, суетился около столов, приготавливая салат, или какой-нибудь соус, или мясо, огурцы и лук для крошки, и при этом злобно тарасил глаза на помогавшего ему денщика и замахивался на него то ножом, то ложкой.

– Подай уксус! – приказывал он. – То бишь не уксус, а прованское масло! – кричал он, топая ногами. – Куда же ты пошел, скотина?

– За маслом, ваше превосходительство, – говорил оторопевший денщик надтреснутым тенором.

– Скорее! Оно в шкапу! Да скажи Дарье, чтоб она в банку с огурцами укропу прибавила! Укропу! Накрой сметану, раззява, а то мухи налезут!

И от его крика, казалось, гудел весь дом. Когда до двух часов оставалось десять или пятнадцать минут, приходил дьякон, молодой человек лет двадцати двух, худощавый, длинноволосый, без бороды и с едва заметными усами. Войдя в гостиную, он крестился на образ, улыбался и протягивал фон Корену руку.

– Здравствуйте, – холодно говорил зоолог. – Где были?

– На пристани бычков ловил.

– Ну конечно... По-видимому, дьякон, вы никогда не будете заниматься делом.

– Отчего же? Дело не медведь, в лес не уйдет, – говорил дьякон, улыбаясь и засовывая руки в глубочайшие карманы своего белого подрясника.

– Бить вас некому! – вздыхал зоолог.

Проходило еще пятнадцать-двадцать минут, а обедать не звали, и все еще слышно было, как денщик, бегая из сеней в кухню и обратно, стучал сапогами и как Самойленко кричал:

– Поставь на стол! Куда суешь? Помой сначала!

Проголодавшиеся дьякон и фон Корен начинали стучать о пол каблуками, выражая этим свое нетерпение, как зрители в театральном райке. Наконец дверь отворялась и замученный денщик объявлял: «Кушать готово!» В столовой встречал их багровый, распаренный в кухонной духоте и сердитый Самойленко; он злобно глядел на них и с выражением ужаса на лице поднимал крышку с супника и наливал обоим по тарелке и, только когда убеждался, что они едят с аппетитом и что кушанье им нравится, легко вздыхал и садился в свое глубокое кресло. Лицо его становилось томным, масляным... Он не спеша наливал себе рюмку водки и говорил:

– За здоровье молодого поколения!

После разговора с Лаевским Самойленко все время от утра до обеда, несмотря на прекраснейшее настроение, чувствовал в глубине души некоторую тяжесть; ему было жаль Лаевского и хотелось помочь ему. Выпив перед супом рюмку водки, он вздохнул и сказал:

– Видел я сегодня Ваню Лаевского. Трудно живется человеку. Материальная сторона жизни неутешительна, а главное – психология одолела. Жаль парня.

– Вот уж кого мне не жаль! – сказал фон Корен. – Если бы этот милый мужчина тонул, то я бы еще палкой подтолкнул: тони, братец, тони...

– Неправда. Ты бы этого не сделал.

– Почему ты думаешь? – пожал плечами зоолог. – Я так же способен на доброе дело, как и ты.

– Разве утопить человека – доброе дело? – спросил дьякон и засмеялся.

– Лаевского? Да.

– В крошке, кажется, чего-то недостает... – сказал Самойленко, желая переменить разговор.

– Лаевский безусловно вреден и так же опасен для общества, как холерная микроба, – продолжал фон Корен. – Утопить его – заслуга.

– Не делает тебе чести, что ты так выражаешься о своем ближнем. Скажи: за что ты его ненавидишь?

– Не говори, доктор, пустяков. Ненавидеть и презирать микробу – глупо, а считать своим ближним во что бы то ни стало всякого встречного без различия – это, покорно благодарю, это значит не рассуждать, отказаться от справедливого отношения к людям, умыть руки, одним словом. Я считаю твоего Лаевского мерзавцем, не скрываю этого и отношусь к нему, как к мерзавцу, с полной моею добросовестностью. Ну, а ты считаешь его своим ближним – и поцелуйся с ним; ближним считаешь, а это значит, что к нему ты относишься так же, как ко мне и дьякону, то есть никак. Ты одинаково равнодушен ко всем.

– Называть человека мерзавцем! – пробормотал Самойленко, брезгливо морщась. – Это до такой степени нехорошо, что и выразить тебе не могу!

– О людях судят по их поступкам, – продолжал фон Корен. – Теперь судите же, дьякон... Я, дьякон, буду с вами говорить. Деятельность господина Лаевского откровенно развернута перед вами, как длинная китайская грамота, и вы можете читать ее от начала до конца. Что он сделал за эти два года, пока живет здесь? Будем считать по пальцам. Во-первых, он научил жителей городка играть в винт; два года тому назад эта игра была здесь неизвестна, теперь же в винт играют от утра до поздней ночи все, даже женщины и подростки; во-вторых, он научил обывателей пить пиво, которое тоже здесь не было известно; ему же обыватели обязаны сведениями по части разных сортов водок, так что с завязанными глазами они могут теперь отличить водку Кошелева от Смирнова номер двадцать один. В-третьих, прежде здесь жили с чужими женами тайно, по тем же побуждениям, по каким воры воруют тайно, а не явно; прелюбодеяние считалось чем-то таким, что стыдились выставлять на общий показ; Лаевский же явился в этом отношении пионером; он живет с чужой женой открыто. В-четвертых...

Фон Корен быстро съел свою крошку и отдал денщику тарелку.

– Я понял Лаевского в первый же месяц нашего знакомства, – продолжал он, обращаясь к дьякону. – Мы в одно время приехали сюда. Такие люди, как он, очень любят дружбу, сближение, солидарность и тому подобное, потому что им всегда нужна компания для винта, выпивки и закуски; к тому же они болтливы и им нужны слушатели. Мы подружались, то есть он шлялся ко мне каждый день, мешал мне работать и откровенничал насчет своей содержанки. На первых же порах он поразил меня своею необыкновенною лживостью, от которой меня просто тошнило. В качестве друга я журил его, зачем он много пьет, зачем живет не по средствам и делает долги, зачем ничего не делает и не читает, зачем он так мало культурен и мало знает, – и в ответ на все мои вопросы он горько улыбался, вздыхал и говорил: «Я неудачник, лишний человек», или: «Что вы хотите, батенька, от нас, осколков крепостничества?», или «Мы вырождаемся...» Или начинал нести длинную галиматью об Онегине, Печорине, байроновском Каине, Базарове, про которых говорил: «Это наши отцы по плоти и духу». Понимайте так, мол, что не он виноват в том, что казенные пакеты по неделям лежат нераспечатанными и что сам он пьет и других спаивает, а виноваты в этом Онегин, Печорин и Тургенев, выдумавший неудачника и лишнего человека. Причина крайней распущенности и безобразия, видите ли, лежит не в нем самом, а где-то вне, в пространстве. И притом – ловкая штука! – распутен, лжив и гадок не он один, а мы... «мы люди восьмидесятых годов», «мы вялое, нервное отродье крепостного права», «нас искалечила цивилизация»... Одним словом, мы должны понять, что такой великий человек, как Лаевский, и в падении своем велик; что его распутство, необразованность и нечистоплотность составляют явление естественно-историческое, освященное необходимостью, что причины тут мировые, стихийные и что перед Лаевским надо лампаду повесить, так как он – роковая жертва времени, веяний, наследственности и прочее. Все чиновники и дамы, слушая его, охали и ахали, а я долго не мог понять, с кем я имею дело: с циником или с ловким мазуриком? Такие субъекты, как он, с виду интеллигентные, немножко воспитанные и говорящие много о собственном благородстве, умеют прикидываться необыкновенно сложными натурами.

– Замолчи! – вспыхнул Самойленко. – Я не позволю, чтобы в моем присутствии говорили дурно о благороднейшем человеке!

– Не перебивай, Александр Давидыч, – холодно сказал фон Корен. – Я сейчас кончу. Лаевский – довольно несложный организм. Вот его нравственный остов: утром туфли, купанье и кофе, потом до обеда туфли, моцион и разговоры, в два часа туфли, обед и вино, в пять часов купанье, чай и вино, затем винт и лганье, в десять часов ужин и вино, а после полуночи сон и *la femme*¹. Существование его заключено в эту тесную программу, как яйцо в скорлупу. Идет ли он, сидит ли, сердится, пишет, радуется – все сводится к вину, картам, туфлям и женщине. Женщина играет в его жизни роковую, подавляющую роль. Он сам повествует, что тринадцати лет он уже был влюблен; будучи студентом первого курса, он жил с дамой, которая имела на него благотворное влияние и которой он обязан своим музыкальным образованием. На втором курсе он выкупил из публичного дома проститутку и возвысил ее до себя, то есть взял в содержанки, а она пожила с ним полгода и убежала назад к хозяйке, и это бегство причинило ему немало душевных страданий. Увы, он так страдал, что должен был оставить университет и два года жить дома без дела. Но это к лучшему. Дома он сошелся с одной вдовой, которая посоветовала ему оставить юридический факультет и поступить на филологический. Он так и сделал. Кончив курс, он страстно полюбил теперешнюю свою... как ее?... замужнюю, и должен был бежать с нею сюда на Кавказ, за идеалами якобы... Не сегодня-завтра он разлюбит ее и убежит назад в Петербург, и тоже за идеалами.

– А ты почему знаешь? – проворчал Самойленко, со злобой глядя на зоолога. – Ешь-ка лучше.

¹ Женщина (*франц.*).

Подали отварных кефалей с польским соусом. Самойленко положил обоим нахлебникам по целой кефали и собственноручно полил соусом. Минуты две прошли в молчании.

– Женщина играет существенную роль в жизни каждого человека, – сказал дьякон. – Ничего не поделаешь.

– Да, но в какой степени? У каждого из нас женщина есть мать, сестра, жена, друг, у Лаевского же она – всё, и притом только любовница. Она, то есть сожительство с ней, – счастье и цель его жизни; он весел, грустен, скучен, разочарован – от женщины; жизнь опостылела – женщина виновата; загорелась заря новой жизни, нашлись идеалы – и тут ищи женщину... Удовлетворяют его только те сочинения или картины, где есть женщина. Наш век, по его мнению, плох и хуже сороковых и шестидесятых годов только потому, что мы не умеем до самозабвения отдаваться любовному экстазу и страсти. У этих сладострастников, должно быть, в мозгу есть особый нарост вроде саркомы, который сдавил мозг и управляет всею психикой. Понаблюдайте-ка Лаевского, когда он сидит где-нибудь в обществе. Вы заметьте: когда при нем поднимаешь какой-нибудь общий вопрос, например, о клеточке или инстинкте, он сидит в стороне, молчит и не слушает; вид у него томный, разочарованный, ничто для него не интересно, все пошло и ничтожно, но как только вы заговорили о самках и самцах, о том, например, что у пауков самка после оплодотворения съедает самца, – глаза у него загораются любопытством, лицо проясняется, и человек оживает, одним словом. Все его мысли, как бы благородны, возвышенны или безразличны они ни были, имеют всегда одну и ту же точку общего схода. Идешь с ним по улице и встречаешь, например, осла... «Скажите, пожалуйста, спрашивает, что произойдет, если случить ослицу с верблюдом?» А сны! Он рассказывал вам свои сны? Это великолепно! То ему снится, что его женят на луне, то будто зовут его в полицию и приказывают ему там, чтобы он жил с гитарой...

Дьякон звонко захохотал; Самойленко нахмурился и сердито сморщил лицо, чтобы не засмеяться, но не удержался и захохотал.

– И все врет! – сказал он, вытирая слезы. – Ей-богу, врет!

IV

Дьякон был очень смешлив и смеялся от каждого пустяка до колотья в боку, до упаду. Казалось, что он любил бывать среди людей только потому, что у них есть смешные стороны и что им можно давать смешные прозвища. Самойленка он прозвал тарантулом, его денщика селезнем и был в восторге, когда однажды фон Корен обозвал Лаевского и Надежду Федоровну макаками. Он жадно всматривался в лица, слушал не мигая, и видно было, как глаза его наполнялись смехом и как напрягалось лицо в ожидании, когда можно будет дать себе волю и покатиться со смеху.

– Это развращенный и извращенный субъект, – продолжал зоолог, а дьякон, в ожидании смешных слов, впился ему в лицо. – Редко где можно встретить такое ничтожество. Телом он вял, хил и стар, а интеллектом ничем не отличается от толстой купчихи, которая только жрет, пьет, спит на перине и держит в любовниках своего кучера.

Дьякон опять захохотал.

– Не смейтесь, дьякон, – сказал фон Корен, – это глупо, наконец. Я бы не обратил внимания на его ничтожество, – продолжал он, выждав, когда дьякон перестал хохотать, – я бы прошел мимо него, если бы он не был так вреден и опасен. Вредоносность его заключается прежде всего в том, что он имеет успех у женщин и таким образом угрожает иметь потомство, то есть подарить миру дюжину Лаевских, таких же хилых и извращенных, как он сам. Во-вторых, он заразителен в высшей степени. Я уже говорил вам о винте и пиве. Еще год-два и – он завоюет все кавказское побережье. Вы знаете, до какой степени масса, особенно ее средний слой, верит в интеллигентность, в университетскую образованность, в благородство манер и литературность языка. Какую бы он ни сделал мерзость, все верят, что это хорошо, что это так и быть должно, так как он интеллигентный, либеральный и университетский человек. К тому же он неудачник, лишний человек, неврастеник, жертва времени, а это значит, что ему все можно. Он милый малый, душа-человек, он так сердечно снисходит к человеческим слабостям; он сговорчив, податлив, покладист, не горд, с ним и выпить можно, и посквернословить, и посудачить... Масса, всегда склонная к антропоморфизму в религии и морали, больше всего любит тех божков, которые имеют такие же слабости, как она сама. Судите же, какое у него широкое поле для заразы! К тому же он недурной актер и ловкий лицемер и отлично знает, где раки зимуют. Возьмите-ка его увертки и фокусы, например, хотя бы его отношение к цивилизации. Он и не нюхал цивилизации, а между тем: «Ах, как мы искалечены цивилизацией! Ах, как я завидую этим дикарям, этим детям природы, которые не знают цивилизации!» Надо понимать, видите ли, что он когда-то, во времена оны, всей душой был предан цивилизации, служил ей, постиг ее насквозь, но она утомила, разочаровала, обманула его; он, видите ли, Фауст, второй Толстой... А Шопенгауэра и Спенсера он третирует, как мальчишек, и отечески хлопает их по плечу: ну что, брат Спенсер? Он Спенсера, конечно, не читал, но как бывает мил, когда с легкой, небрежной иронией говорит про свою барыню: «Она читала Спенсера!» И его слушают, и никто не хочет понять, что этот шарлатан не имеет права не только выражаться о Спенсере в таком тоне, но даже целовать подошву Спенсера! Рыться под цивилизацию, под авторитеты, под чужой алтарь, брызгать грязью, шутовски подмигивать на них только для того, чтобы оправдать и скрыть свою хилость и нравственную убогость, может только очень самолюбивое, низкое и гнусное животное.

– Я не знаю, Коля, чего ты добиваешься от него, – сказал Самойленко, глядя на зоолога уже не со злобой, а виновато. – Он такой же человек, как и все. Конечно, не без слабостей, но он стоит на уровне современных идей, служит, приносит пользу отечеству. Десять лет назад здесь служил агентом старичок, величайшего ума человек... Так вот он говаривал...

– Полно, полно! – перебил зоолог. – Ты говоришь: он служит. Но как служит? Разве оттого, что он явился сюда, порядки стали лучше, а чиновники исправнее, честнее и вежливее? Напротив, своим авторитетом интеллигентного, университетского человека он только санкционировал их распушенность. Бывает он исправен двадцатого числа, когда получает жалование, в остальные же числа он только шаркает у себя дома туфлями и старается придать себе такое выражение, как будто делает русскому правительству большое одолжение тем, что живет на Кавказе. Нет, Александр Давидыч, не вступайся за него. Ты неискренен от начала до конца. Если бы ты в самом деле любил его и считал своим ближним, то прежде всего ты не был бы равнодушен к его слабостям, не снисходил бы к ним, а для его же пользы постарался бы обезвредить его.

– То есть?

– Обезвредить. Так как он неисправим, то обезвредить его можно только одним способом...

Фон Корен провел пальцем около своей шеи.

– Или утопить, что ли... – добавил он. – В интересах человечества, в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. Непременно.

– Что ты говоришь?! – пробормотал Самойленко, поднимаясь и с удивлением глядя на спокойное, холодное лицо зоолога. – Дьякон, что он говорит? Да ты в своем уме?

– Я не настаиваю на смертной казни, – сказал фон Корен. – Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевского нельзя, ну так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы...

– Что ты говоришь? – ужаснулся Самойленко. – С перцем, с перцем! – закричал он отчаянным голосом, заметив, что дьякон ест фаршированные кабачки без перца. – Ты, величайшего ума человек, что ты говоришь?! Нашего друга, гордого, интеллигентного человека, отдавать в общественные работы!!

– А если горд, станет противиться – в кандалы!

Самойленко не мог уж выговорить ни одного слова и только шевелил пальцами; дьякон взглянул на его ошеломленное, в самом деле смешное лицо и захохотал.

– Перестанем говорить об этом, – сказал зоолог. – Помни только одно, Александр Давидыч, что первобытное человечество было охраняемо от таких, как Лаевский, борьбой за существование и подбором; теперь же наша культура значительно ослабила борьбу и подбор, и мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет и человечество выродится совершенно. Мы будем виноваты.

– Если людей топить и вешать, – сказал Самойленко, – то к черту твою цивилизацию, к черту человечество! К черту! Вот что я тебе скажу: ты ученейший, величайшего ума человек и гордость отечества, но тебя немцы испортили. Да, немцы! Немцы!

Самойленко, с тех пор как уехал из Дерпта, в котором учился медицине, редко видел немцев и не прочел ни одной немецкой книги, но, по его мнению, все зло в политике и науке происходило от немцев. Откуда у него взялось такое мнение, он и сам не мог сказать, но держался его крепко.

– Да, немцы! – повторил он еще раз. – Пойдемте чай пить.

Все трое встали и, надевши шляпы, пошли в палисадник и сели там под тенью бледных кленов, груш и каштана. Зоолог и дьякон сели на скамью около столика, а Самойленко опустился в плетеное кресло с широкой, покатою спинкой. Денщик подал чай, варенье и бутылку с сиропом.

Было очень жарко, градусов тридцать в тени. Знойный воздух застыл, был неподвижен, и длинная паутина, свесившаяся с каштана до земли, слабо повисла и не шевелилась.

Дьякон взял гитару, которая постоянно лежала на земле около стола, настроил ее и запел тихо, тонким голоском: «Отроцы семинарстии у кабака стояху...», но тотчас же замолк от

жары, вытер со лба пот и взглянул вверх на синее горячее небо. Самойленко задремал; от зноя, тишины и сладкой послеобеденной дремоты, которая быстро овладела всеми его членами, он ослабел и опьянел; руки его отвисли, глаза стали маленькими, голову потянуло на грудь. Он со слезливым умилением поглядел на фон Корена и дьякона и забормотал:

– Молодое поколение... Звезда науки и светильник церкви... Гляди, длиннополая аллилуйя в митрополиты выскочит, чего доброго, придется ручку целовать... Что ж... дай бог...

Скоро послышалось храпенье. Фон Корен и дьякон допили чай и вышли на улицу.

– Вы опять на пристань бычков ловить? – спросил зоолог.

– Нет, жарковато.

– Пойдемте ко мне. Вы упакуете у меня посылку и кое-что перепишете. Кстати, потолкуем, чем бы вам заняться. Надо работать, дьякон. Так нельзя.

– Ваши слова справедливы и логичны, – сказал дьякон, – но леность моя находит себе извинение в обстоятельствах моей настоящей жизни. Сами знаете, неопределенность положения значительно способствует апатичному состоянию людей. На время ли меня сюда прислали или навсегда, богу одному известно; я здесь живу в неизвестности, а дьяконица моя прозябает у отца и скучает. И, признаться, от жары мозги раскисли.

– Все вздор, – сказал зоолог. – И к жаре можно привыкнуть, и без дьяконицы можно привыкнуть. Не следует баловаться. Надо себя в руках держать.

V

Надежда Федоровна шла утром купаться, а за нею с кувшином, медным тазом, с простынями и губкой шла ее кухарка Ольга. На рейде стояли два каких-то незнакомых парохода с грязными белыми трубами, очевидно, иностранные грузовые. Какие-то мужчины в белом, в белых башмаках, ходили по пристани и громко кричали по-французски, и им откликались с этих пароходов. В маленькой городской церкви бойко звонили в колокола.

«Сегодня воскресенье!» – с удовольствием вспомнила Надежда Федоровна.

Она чувствовала себя совершенно здоровой и была в веселом, праздничном настроении. В новом просторном платье из грубой мужской чечунчи и в большой соломенной шляпе, широкие поля которой сильно были загнуты к ушам, так что лицо ее глядело как будто из коробочки, она казалась себе очень миленькой. Она думала о том, что во всем городе есть только одна молодая, красивая, интеллигентная женщина – это она, и что только она одна умеет одеться дешево, изящно и со вкусом. Например, это платье стоит только двадцать два рубля, а между тем так мило! Во всем городе только она одна может нравиться, а мужчин много, и потому все они волей-неволей должны завидовать Лаевскому.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.